

Владимир Одоевский Сильфида

(из записок благоразумного человека)

Посв. Анас. Серг. П-вой

*Поэта мы увенчаем цветами и выведем его вон из города.
/Платон/*

*Три столба у царства: поэт, меч и закон.
/Предания северных бардов/*

*Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни
для сочинения гимнов общественным постановлениям.
/Одна из промышленных компаний XVIII-го века.
!?!? XIX-й век/*

ПИСЬМО I

Наконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, сидя в огромных дедовских креслах, у окошка; правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный: огород, две-три яблони, четверугольный пруд, голое поле — и только; видно, дядюшка был не большой хозяин; любопытно знать, что же он делал, проживая здесь в продолжение пятнадцати лет безвыездно. Неужели он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в пять, напьется чаю и сядет раскладывать гранпасьянс вплоть до обеда; отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гранпасьянс вплоть до ночи; так проходят 365 дней. Но понимаю. Спрашивал я у людей, чем занимался дядюшка? Они мне отвечали:

Да так-с. Мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре после довать примеру дядюшки; право; умный был человек покойник! В самом деле, я здесь по крайней мере хладнокровнее, нежели в городе, и доктора очень умно сделали, отправив меня сюда; они, вероятно, сделали это для того, чтоб сбить меня с рук; но, кажется, я их обману: сплин мой, подивись, почти прошел; напрасно думают, что рассеянная жизнь может лечить больных в моем роде; неправда: светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастье, — я почти никого не вижу, и со мной нет ни одной книги! этого счастья описать нельзя — надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь; начало тебя заманивает, обещает золотые горы, — подвигаешься дальше, и видишь одни мыльные пузыри, ощущаешь то ужасное чувство, которое испытали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно: искать и не находить! Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи. Однако ж не думай, чтоб я жил совершенно отшельником: по древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастью, немного; говорил с вами об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил; ты па можешь себе представить, как меня прельщает их полное равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их уезда; с каким наслаждением я слушаю их невероятны суждения о

единственном номере Московских ведомостей, получаемом на целый уезд; в этом номере, для предосторожности обвернутом в обойную бумагу, читается по очереди все, от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно; первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние для смеха, — который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине; за то пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им читать лекции о химии или плодопеременном хозяйстве; но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастью человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости: умора, да и только! — И поделом этим умникам — об чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых друзей рассуждают и о политике; всего больше их тревожит турецкий султан по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигил-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть ДонКар-лосом... Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом, — т. е. отказываемся читать газеты, а они самым естественным т. е. читают и не понимают... Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастье может состоять только в том, чтоб все знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям: она им очень по сердцу; а меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне: как я, будучи прекраснейшим человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты; но надеюсь, что они к этому привыкнут и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению: сидеть склавши руки... Но к черту философия! она умеет вмешаться в мысли самого животного человека... Кстати о животных: у иных из моих соседей есть прехорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью, — тучные, полные, здоровые — и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой и которую можно бы почтить исключением из общего правила, если бы она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове, которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под эту прекрасную оболочку, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полу-заспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень желательно, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я приготавливаю в эту дущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки: летом-с бывает очень много мух (Гоголь. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)), и посмотрю, не выйдет ли из этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою. Прощай. Пиши ко мне чаще; но от меня ожидай писем очень редко; мне очень весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них.

ПИСЬМО II

(Два месяца спустя после первого)

Говори теперь о твердости духа человеческого! Давно ли я радовался, что со мною нет ни одной книги; но не прошел месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось тем, что соседи мои надоели мне до смерти; правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще

больше сбивают их с толка. Да! я уверился, мой друг: невежество не спасенье. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными, то же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же лесть, та же низость, только с тою разницею, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее, — а между тем предметы мельче. Скажу более: человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его по крайней мере не каждую минуту своего существования находится в полном унижении; музыка, картина, выдумка роскоши — все это отнимает у него время на низости... Но моих друзей страшно узнать поближе; эгоизм проникает, так сказать, весь состав их; обмануть в покупке, выиграть неправо дело, взять взятку — считается не втихомолку, но прямо, открыто, делом умного человека; ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу, — долгом благовоспитанного человека; долголетняя злоба и мщение — естественным делом; пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному, — невинным, по введенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою. Как и быть иначе! Вся эта безнравственность, все это полное забвение человеческого достоинства переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и примера и заражает целую по поколения. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастием: христианство недаром призывает человека к забвению здешней жизни; чем более человек обращает внимания на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения, словом, всю мелочь жизни, — тем он несчастливее; эти мелочи становятся для него целию бытия; для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям, характер портится; все высшие, отвлеченные, успокоивающие понятия забываются; терпимость, эта высшая из добродетелей, исчезает, — и человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ; внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно: человек всегда беспокойный, не нарушили ль в отношении к нему уважения или приличий; хозяйка дома, вся погруженная в смотрение за хозяйством; ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов; чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы; человек, в низких расчетах забывающий свое достоинство, — посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными — они ужасны: жизнь их есть непрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают! — Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями я заперся и не велел никого из них пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четверугольный пруд, попробовал было срисовать его; но ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался: трудился, трудился — вышла гадость; принялся было за стихи — вышел, по обыкновению, скучный спор между мыслями, стопами и рифмами; я даже было запел, хотя никогда не мог наладить и *di tanti palpiti* (Буквально: с волнением, с трепетом (итал.)) — и наконец, увы! призвал старого управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него: Да неужели у дядюшки не было никакой библиотеки? Седой старичок низко мне поклонился и отвечал: Нет, батюшка; такой у нас никогда не бывало. — Да что же такое, спросил я, — в этих запечатанных шкапах, которые я видел па мезонине? — Там, батюшка, лежат книги; по смерти дядюшки вашего тетушка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь не приказывала никому трогать. — Открой их.

Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва дер жавшиеся восковые печати — шкаф открыт, и что я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков и кабалистов. Я даже заметил в шкафу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик верно искал философского

камня... проказник! и как он умел сохранять это в секрете! Нечего было делать; я принялся за те книги, которые на" шлись, и теперь, вообрази себе меня, человека в XIX-м веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждение: о первой материи, о всеобщем электре, о души солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно, и скучно, и лю бопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка (один порядочный, хотя и скучный, человек из всего уезда) часто у меня бывает и очень за мною ухаживает; все, что я ни слышу об ней, все показывает, что она, как называли в старину, предостойная девица, т. е. имеет большое приданое; между тем я слышал стороною, что она делает много добра, напр<имер> выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто умиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека; все окрестные жители называют ее ангелом — это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?..

ПИСЬМО III

(Два месяца спустя)

Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но даже женился, — ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом; я пью — и знаешь ли что? чего не выдумает безделье! я пью воду... Не смейся: надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности; тут требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по большей части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий: Элементарные духи, говорит автор, — очень любят людей, и довольно со стороны человека малейшего усилия, чтоб войти в сношение с ними; так, наприм<ер>, для того чтоб видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы... но более мы говорить не смеем... Sapient! sat... (Для понимающего достаточно (лат.)) здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель, — и проч. и проч. Этот способ показался мне столько простым, что я вознамерился испытать его, хоть для того, чтоб иметь право похвастаться, что я на себе испытал кабалистическое таинство. Я вспомнил было ундину, которая так утешала меня в ребячестве; но, не желая иметь дела с ее дядюшкою, я пожелал видеть сильфиду; с этою мыслию — чего не делает безделье? — бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду па солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я нахожу, что по крайней мере это очень здорово; еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее. Знаешь ли, что я не перестаю читать моих кабалистов и алхимиков, и знаешь ли, что я еще скажу тебе: эти книги для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители: Наше дело, — говорят они, — очень просто: женщина, по оставяя своего веретена, может совершить его, — умой только понимать пас. — Я видел, — говорит один, при мне это было, когда Парацельсий превратил одиннадцать фунтов свинца в золото. — Я сам, — говорит другой, — я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению. — Прошлого года, — говорит третий, — я сделал из глины очень хороший яхонт и проч. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня необыкновенно трогательно это зрелище: человек говорит с презрением о

том, что они называют ученостию профанов, т. е. нас; с гордою самоуверенностию достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой силы — и на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека; один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX-го века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях: с ними то же случилось, что с драконом, которого тридцать лет тому почитали существом баснословным и которого теперь отыскивали налицо, между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальною стихиею? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти; в этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки.

ПИСЬМО IV

В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой Друг, в странном положении и прошу у тебя совета: я писал к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа; мне наконец удалось заставить говорить ее, и я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество: а именно — она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, препоручая все мои дела управителю; у нас производится тяжба об нескольких тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход моих крестьян; эта тяжба длится уже более тридцати лет, и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться; а чтоб мир этот был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. Что, в самом деле? молодость моя уже прошла, великим человеком мне не бывать, все мне надоело; Катя девушка премилая, послушлива, неговорливая; женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни: упрочу благосостояние людей, мне подвластных; одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли?.. Все это вступление к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решил жениться, но еще не говорил об этом отцу Кати, и не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы: как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следовательно, не имеет никакого средства надоест мне? одним словом, должно ли еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтоб из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.

ПИСЬМО V

Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословление; едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела; она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее: Я не знаю, — сказала она мне, — удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столько счастливым, как я сама буду счастлива. Эти слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны; ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувства, нежели в длинной речи; в Катиных словах я видел целый мир мыслей: они должны были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати... После этого, ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела — я хочу, чтоб ты был свидетелем моего, как говорят, счастья; приезжай хоть для курьеза, посмотреть на жениха с невестою, каких ты, верно, никогда не видывал; сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.

ПИСЬМО VI

(Несколько недель спустя)

Не знаю, как начать мне мое письмо; ты меня почтешь сумасшедшим; ты будешь смеяться, бранить меня... Все по зволяю; позволяю даже мне не верить; но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет! не все вздор в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые до ныне существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось: читай и удивляйся! Мои разговоры с Катей, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть о моей вазе с солнечною водою; ты знаешь, любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешает во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет — и что же?.. Но обратимся к делу. Вчера вечером, подошед к вазе, я заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман и, чтоб удостовериться, взял вазу в руки; но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде тонкими нитями и скоро совсем исчезли, лишь вода сделалась вся золотою с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу; я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе; он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление было видимо только для одного меня. Чтоб не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением. — Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую: всякий раз то же явление повторялось с удивительною точностию — и между тем оно неизъяснимо никакими физическими законами. Неужли в самом деле это правда? Неужли мне суждено быть свидетелем этого странного таинства? Оно мне кажется столько важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение человека с другим, недоступным миром. Что будет далее!..

ПИСЬМО VII

Нет, мой друг, ты ошибся и я также. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли; напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы! Какие простые средства употребляет она для произведения таких дел, которые изумляют и ужасают человека! Слушай и удивляйся. Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение: смотрю поверх воды струятся голубые волны, и в них отражаются радужные опаловые лучи; бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние; вся вода была в волнении; били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место; по зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в пре красную, пышную розу — и все утихло: вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так уже прошло несколько дней; с тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда; но тщетно — роза цветет спокойно и лишь наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием. — Я невольно вспомнил читанное мною в одной кабалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы прежде, нежели достигнут своего настоящего образа. Чудно! чудно!

(Чрез несколько дней)

Сегодня я подошел к моей розе и в середине ее заметил что-то новое... Чтоб лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и снова решил перелить ее в другую; но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатую струю перелились вместе с водою, и снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок: все успокоилось, но в середине его что-то мелькало: листья растворились малопомалу, и — я не верил глазам моим! — между оранжевыми тычинками покоилось, — поверишь ли ты мне? — покоилось существо удивительное, невыразимое, невероятное — словом, женщина, едва приметная глазу! Как описать мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту! — Эта женщина была не младенец; представь себе миньятюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами; небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно впевив в нее глаза, удерживал дыхание, чтоб не прервать ее сладкого спокойствия. О, теперь я верю кабалистам; я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкою недоверчивости. Нет, если существует истина на сем свете, то она существует только в их творениях! Я теперь только заметил, что они по так, как наши обыкновенные ученые: они не спорят между собою, не противоречат друг другу; все говорят про одно и то же таинство; различны лишь их выражения, но они понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их... Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношения с людьми; другой, новый, таинственный мир для меня открывается; я лишь для потомства сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни!..

ПИСЬМО ГАВРИЛА СОФРОНОВИЧА РЕЖЕНСКОГО К ИЗДАТЕЛЮ

Милостивый государь! Извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем, решаюсь

беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, небезызвестно, что у меня с покойным его дядюшкой, по коему он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятя, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие; впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход сего дела; но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги нужные к сему очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причиною случившееся нездоровье, я посылал к нему человека, а наконец и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напомнить ему о том, что он забыл свою невесту; а он хоть бы извинился! только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжение некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал; думал я, что он хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство; однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, престранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником; я, сударь, сам некогда учился в уни верситете; хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю; однако же мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель! Что же наиболее уверяет меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе, — это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит по целым дням и смотрит в графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою — немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться: снова ли начать тяжбу, или покончить решенное дело; ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том упрощивает. В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть, и проч.

РАССКАЗ

Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь во всем этом?.. Все это очень понятно, — сказал мне доктор, и совсем не ново для медика... Ваш приятель просто с ума сошел... — Но перечтите его письма, — возразил я, — есть ли в них малейший признак сумасшествия? отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления...

Все это понятно... — повторил медик. — Вы знаете, что мы различаем разные роды сумасшествия — *vesaniae* (безумия (лат.)). К первому роду относятся все виды бешенства — это не касается до вашего приятеля; второй род содержит в себе: во-первых, расположение к призракам — *hallucinationes*; (галлюцинации (лат.)) во-вторых, уверенность в сообщении с духами — *demonomania* (демономания (лат.)). Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к ипохондрии, — в деревне, один, без всяких рассеянностей, углубился в чтение всякого вздора, это чтение подействовало на его мозговые нервы; нервы... Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим, видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному

сожалению, я не могу сообщить этих объяснений читателю, потому что я в них ничего не понял; но, убежденный доводами доктора, я решился пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля. Михайло Платонович лежал в постели, худой, бледный; в продолжение нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза его были открыты; в них горел какой-то дикий огонь; на все наши слова он не отвечал нам ни слова... На столе лежали исписанные листы бумаги — я мог разобрать в них лишь некоторые строки, вот они:

ОТРЫВКИ

Из журнала Михаила Платоновича

— Кто ты? — У меня нет имени — оно мне не нужно... — Откуда ты? — Я твоя — вот все, что я знаю; тебе я принадлежу и никому другому... но зачем ты здесь? как здесь душно и холодно! У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки... за мной... за мной!.. как тяжела твоя одежда — сбрось, сбрось ее... а еще далеко, далеко до нашего мира... но я не оставлю тебя! — Как все мертво в твоём жилище... все живое покрыто холодной оболочкой: сорви, сорви ее!... Так здесь ваше знание?.. Здесь ваше искусство?.. вы отделяете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы но умираете от скуки? — За мной, за мной! скорое, скорое... Ты ли это, гордый Рим, столица веков и пародов? Как растянулась повилика по твоим развалинам... Но развалины шевелятся, из зеленого дерна поднимаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок, — чрез них свод отважно перегнулся, отряхая вечный прах свои, помост стелется игривым мозаиком, — на помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором волн, — оратор в белой одежде с венцом на главе поднимает руки... И все исчезло: пышные здания клонятся к земле; столпы сгибаются, своды врываются в землю — повилика снова вьется по развалинам — все умолкло, — колокол призывает к молитве, храм открыт, слышны звуки мусийского орудия — тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами, мысль стремится за мыслию, они улетают одна за другою как сновидения... если бы схватить, остановить их? — И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все минутные, невозвратимые движения души... Храм опустел, лунный блеск ложится на бесчисленные статуи; они сходят с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни; их речи древни и новы, важна их улыбка и значителен взор; но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи... Уж поздно... нас ждет веселый, тихий приют; в окошках мелькает Тибр; за ним Капитолий вечного града... Очаровательная картина! она слилась в тесную раму нашего камелька... да! там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек... Обними меня, прелестная дева... В жемчужном кубке кипит искрометная влага... пей... пей... Там хлопьями валится снег и замечает дорогу — здесь меня греют твои объятия... Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу, взви вайте столбом ледяной прах: в каждой пылинке блистает солнце — розы вспыхнули па лице прелестной — она прильнула ко мне душистыми губками... Где ты нашла это художество поцелуя? все горит в тебе и кипячею влагою обдаёт каждый нерв в моем теле... Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу... Что? не крик ли битвы? не новая ли вражда между небом и землею?.. Нет, то брат предал брата, то невинная дева во власти преступления... и солнце светит, и воздух прохладен? Нет! потряслась земля, солнце померкло, буря опустила с небес, спасла жертву и омыла преступного, — и снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред невинностью... За мной, за мной... Есть Другой мир, новый мир... Смотри: кристалл растворился — там внутри его новое солнце... Там совершается великая тайна кристаллов; поднимем завесу... толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами; здесь воздух, солнце, жизнь — вечный свет: они черпают в мире растений благоуханные смолы, обделывают их в блестящие радуги и скрепляют огненною стихией...

За мной, за мной! мы еще на первой ступени... По бесчисленным сводам струятся ручьи: быстро бьют они вверх и быстро спускаются в землю; над ними живая призма преломляет лучи солнца; лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры; они то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети; жизненные духи, прикованные к вечно-кипящим кубам, претворяют живую влагу в душистый пар, он облаками стелется по сводам и крупным дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни...: Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти, каменеют живые соки, застывают в металлических жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа... За мной! за мной!.. На возвышенном троне восседает мысль человека, от всего мира тянутся к ней золотые цепи, — духи природы преклоняются в прах перед нею, — на востоке восходит свет жизни, — на западе, в лучах вечерней зари, толпятся сны и, по произволу мысли, то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками... У подножия престола она сжала меня в своих объятиях... мы миновали землю! Смотри — там в безбрежной пучине носится ваша пылинка: там проклятия человека, там рыдания матери, там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта здесь все сливается в сладостную гармонию, здесь ваша пылинка не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны эфира. Простись с поэтическим земным миром! И у вас есть поэзия на земле! оборванный венец вашего блаженства! Бедные люди! странные люди! в вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастье! Вы страданию даете поэтический отблеск! Вы гордитесь вашим страданием; вы хотите, чтоб жители другого мира завидовали вашей жизни! В нашем мире пот страдания: оно удел лишь несовершенного мира, создание существа несовершенного! — Вольно человеку преклоняться пред ним, вольно ему отбросить его, как истлевшую одежду па плечах путника, завидевшего родину.

Неужели ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка, в лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в не земных мечтаниях поэта! Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу, — тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтоб вынести вас из грубых оков вещества — тогда вы достойны нашего лика!.. Смотри, есть ли страдание в моем поцелуе: в нем нет времени — он продолжится в вечность: и каждый миг для нас — новое наслаждение!.. О, не измени мне! не измени себе! берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы! Смотри — там вдали, на вашей земле поэт преклоняется пред грудой камней, обросших бесчувственным организмом растительной силы. Природа! — восклицает он в восторге, величественная природа, что выше тебя в этом мире? что мысль человека пред тобою? А слепая, безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека! Лишь в душе души высоки вершины! Лишь в душе души бездны глубоки! В их глубину не дерзает мертвая природа; в их глубине независимый, крепкий мир человека; смотри, здесь жизнь поэта — святыня! здесь поэзия — истина! здесь договаривается все недосказанное поэтом; здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений... О, люби меня! Я никогда не увяну: вечно свежая, девств венная грудь моя будет биться на твоей груди! Вечное на слаждение будет для тебя ново и полно — и в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной существенностию!

Этот младенец — это дитя наше! он не ждет попечения отца, он не будит ложных сомнений, он заранее исполнил твои надежды, он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает — для него нет возможных страданий, если только ты не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли... Нет, та не убьешь нас одним желанием! Но дальше, дальше — есть еще другой, высший мир, там самая мысль сливается с желанием. — За мной! за мной!.. Дальше почти невозможно было ничего разобрать; то были несвязные, разнородные слова: любовь... растениеэлектричество... человек... дух... Наконец, последние строки были написаны

какими-то странными неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице... Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну: больной затрясся всем телом. Добрый знак! воскликнул доктор. В глазах больного выражалось какое-то престранное чувство — как будто раскаяние, просьба, мученье разлуки; слезы его катились градом... Я обращал на это выражение лица внимание доктора... Доктор отвечал: *facies hippocratica!* (предсмертная маска (лат.)) Через час еще бульонная ванна — и ложка микстуры; за нею порядочно мы побились: больной долго терзался и упор ствовал, но наконец проглотил. Победа наша! — вскричал доктор. Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться вы вести нашего больного из его оцепенения и раздражить его чувственность. Так мы и сделали: сперва ванна, потом ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям больной стал видимо оправляться; наконец показался и аппетит — он уже начал кушать без нашего пособия... Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину... Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно по виновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия. Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и в особенности несколько бутылок отличного лафита, который я догадался привезти с собою. Это сродство вместе с чудесным окровавленным ростбифом, совершенно поставило на ноги моего приятеля, так что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем со мною согласился; я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал — и, пожелав ему счастья, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностию. Устроив мои дела, я чрез несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от молодого не получал никакого известия. Застал я его поутру: он сидел в халате, с трубкой в зу бах; жена разливала чай; в окошко светило солнышко и вы глядывала преогромная спелая груша; он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив... Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и сказал, покачав головою: — Ну, что, несчастив ты, брат? Что же вы думаете? он разговорился? Да! Только что он напутал! — Счастлив! — повторил он с усмешкою, — знаешь ли ты, что сказал этим словом? Ты внутренне похвалил себя и по думал: Какой я благоразумный человек! я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив... счастлив! Тебе пришли на мысль все похвалы моих тетюшек, дядюшек, всех этих так называемых благора зумных людей — и твое самолюбие гордится и чванится... не так ли? — Если бы и так... — сказал я. — Так довольствуйся же этими похвалами и благодарностию, а моей не жди. Да! Катя меня любит, имение наше устроено, доходы собираются исправно, — словом, ты дал мне счастье, но не мое: ты ошибся номером. Вы, господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дорогие физические инструменты: он нехорошо смерил, инструменты в него не входят, как быть? а ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты, — где выгнул, где спрямил, — они вошли в ящик и улеглись спокойно, любо посмотреть на него, да только одна беда: инструменты испорчены. — Господа! по инструменты для ящика, а ящик для инструментов! Делайте ящик по инструментам, а не инструменты по ящику. — Что ты хочешь этим сказать? — Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрывкою, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика... Прекрасно! инструмент улегся, но он испорчен; он был приготовлен для другого назначения... Теперь, когда среди ежедневной жизни я чув ствую, что мои брюшные

полости раздвигаются час от часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне тайнства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны... где это счастье? — возврати мне его! — Ты, братец, поэт, и больше ничего, — сказал я с доса дою, — пиши стихи... — Пиши стихи! — возразил больной, — пиши стихи! Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям: вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись — куда угодно? А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись, — искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его! может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира! Он наклонил голову, глаза его приняли странное выражение, он говорил про себя: Прошло — не возвратится умерла — не перенесла — падай! падай! — и прочее тому подобное. Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно порядочным человеком: завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжёб по землям (у него чересполосица); здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюшко (NB. Он до сих пор употребляет бульонные ванны — они ему очень помогают). Одно только худо: говорят, что он немножко крепко пьёт с своими соседями — а иногда даже и без соседей; также говорят, что от него ни одной горничной прохода пот, — по за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере он теперь человек, как другие.

Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший мне письма Платона Михайловича, — очень благоразумный человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории: не будут ли счастливее читатели?